

ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

АНДРЕЙ УБОГИЙ

ГОРОД

I

Почему-то я был уверен, что Прага встретит нас ливнем, что рябая завеса дождя затуманит мосты над Влтавой и замок Пражского Града — и мы увидим город таким, каким он и должен, по замыслу, быть. Ведь города создавались людьми, как укрытия, как “огороды” — в том числе как защита и от непогоды. Под ясным небом и в благостном климате город, по сути, не нужен: хватает навеса из пальмовых листьев. Города возникают, когда люди стремятся отгородиться от хаоса внешнего мира: от холодов и дождей, суховеев и вьюг, когда хотят защититься от злобных соседей и диких зверей.

Так что дождь — момент истины города. На случай дождя дома накрывались вот этою черепицей, густой цвет которой так радует глаз, на случай дождя проводились лотки водосливов и водопроводные трубы, улицы города, непролазные некогда в грязь, мостились булыжником, и на случай дождя весь подземный слой города сложно пронизан системами ливневых стоков. В каком-то смысле любой город и строится ради дождя, непогоды; поэтому именно в дождь проявляется настоящая Прага.

К тому же эффект размывания за мельтешащей завесой дождя переводит реальный, сегодняшний город во что-то мистически-зыбкое, как бы потустороннее. Прага дождя — это Прага воспоминания, вымысла, сказки; и вот именно к ней, к этой сказочной Праге, давно, ещё с детских лет, так стремились душа.

Моя Прага началась с кафе на Арбатской площади Москвы. Едва ли не первым, что я, восьмилетний, увидел в столице — разумеется, после метро с его движущимися лестницами и мозаикой сводов на “Киевской”, — было именно кафе “Прага”. И мальчик с калужской окраины был совершенно тогда очарован его сказочной атмосферой. Потолки были там высоки, стена за буфетною стойкой, с её зеркалами, готической витиеватой резьбой и двуххвостыми львами чем-то напоминала орган, а огромные круглые мраморные столы, за которыми, не мешая друг другу, свободно вставало по шесть или семь человек, — столы говорили о том, что само отношение к еде может быть совершенно иным, чем суетливо-поспешным набиванием брюха, обыкновенным в нашем быту. Нет, говорили мне эти столы, есть нужно медленно и основательно, есть нужно вкусно, со знанием дела — впрочем, так же неспеш-

но и основательно нужно и жить. А то что же ты так поспешно глотаешь и давишься, и при этом затравленно зыркаешь по сторонам — как будто украл эту пару сосисок?

В кафе царил запах кофе — причём настоящего кофе, а не того суррогата, к которому нас приучили в школьной столовой. А уж миндальные пирожные — круглые, нежно хрустящие, с ломкой корочкой полупрозрачной глазури — казались кондитерским чудом.

Но всего поразительней то, что когда, спустя почти сорок лет, я посетил настоящую Прагу — общее впечатление от нее было почти тем же самым, что и давнишнее детское впечатление от кафе на Арбате. Я вновь почувствовал обаяние неспешной и обстоятельной жизни — жизни самой по себе и самой для себя — которую так понимают пражане и которую так, увы, мало знают и мало ценят в России. Можно сказать, что я испытал эффект “дежа вю”, встречи с собственным воспоминанием — хотя никогда прежде не бродил по улочкам Старого Места, не любовался старинною кладкой домов, чьи стены впитали копоть столетий, и не задирали головы перед фасадами ратуш, костелов, дворцов, перед всей их затейливой и грандиозной лепниной. Казалось: я здесь уже был, и я чувствую с детства памятный мне дух старой Праги.

Мало того, что Прага предстала, как нечто знакомое, близкое; в этом чувстве внезапного узнавания незнакомого города было что-то от встречи с давнишней мечтой, которая наконец воплотилась. Причем это не только мечта моей собственной жизни: гармонический город, город, как воплощённая сказка, — есть совокупная греза всего человечества. Ведь наша история — это, во многом, история городов; можно сказать, что человеческая история представляет собой многочисленные попытки воплотить городскую идею — то есть создать наиболее подходящее место для жизни, огордиться от хаоса внешнего мира и утвердить, вопреки беспорядку — порядок.

II

И как ветвились и плыли в глазах переулки и улочки Нового Места или Малой Страны — так же плыли, ветвились и мысли. Думалось большей частью о городе, как таковом: о том, например, как и где зародилась сама городская идея? И не случайно вдруг вспомнилось об Аркаиме, о том протогороде, на останках которого мне доводилось бывать.

Аркаим — это, как говорится, отдельная песня. Когда в южноуральских степях один из вождей кочевавших с Востока на Запад индоарийских племён догадался не просто поставить временный лагерь для своего кочевого народа, но приказал обнести этот лагерь стеной — это и было, по сути, изобретением города. Ведь город начинается тогда, когда возникает стена, которая отделяет дикую и хаотичную внешнюю жизнь от более или менее организованной жизни внутри городской стены.

Аркаим был именно изобретен, он возник в голове гениального зодчего, как законченный и гармонический образ. Восхищает сама планировка, разметка пространства под будущий город. В землю вбивался кол, к нему на длинном ремне привязывался конь, которого гнали вскачь по ковыльной, от веку не знающей плуга степи. Конь скакал, наматывая и укорачивая ремень, и скоро кочевники видели геометрически правильный круг чёрной вытопанной земли. В этом-то круге диаметром в полторы сотни саженей и должен был поместиться весь будущий город, с его тремя тысячами жителей.

Бревенчатая двухслойная, заполненная землёю стена защищала народ Аркаима от Великой Степи — от её суховеев, буранов, от диких зверей и недобрых людей. От стены к центру города сходились дома, поставленные буквально вплотную — то есть так, что стена одного дома являлась и стеною соседнего. Свободных пространств в Аркаиме практически не было — кроме маленькой площади в центре, к которой, как спицы от обода колеса, сходились все стены домов. Наверное, птицам, пролетающим над Аркаимом, город и казался похож на большое тележное колесо, которое вместо того, чтоб катиться бескрайнею степью, завалилось вдруг набок, да так и осталось лежать, обрастая какою-то новою и для дикой степи непривычною жизнью.

Структурной же единицею нового города стало жилище: длинный дом, торец которого упирался в пятиметровый участок городской стены и в котором

селились от тридцати до пятидесяти человек. Это была то ли казарма, то ли общага – прообраз тех форм человеческого общежития, которые позже проявятся разнообразно и щедро. Военной обязанностью аркаимской семьи, заселявшей такую казарму, была оборона своего участка наружной стены. А уж те два десятка мужчин, что семья могла выставить, отстояли бы эти пять метров стены от любого врага – тем более что защищали они, в прямом смысле слова, свой родной дом.

В сущности, каждое из аркаимских жилищ представляло собой как бы маленький город: в нём имелось практически всё, что человеку было необходимо, и целые месяцы можно было прожить, не показываясь наружу. В каждом доме обязательно был колодец, был продовольственный склад, был культовый угол – особая печь, в которой ученики Заратустры* сжигали жертвенных животных, были гончарные, швейные и оружейные мастерские, были плавильные печи – по сути, металлургические микроразоводы – и, что уж совсем поразительно, было даже и кладбище: ибо детские захоронения археологи открывали внутри аркаимских жилищ.

Каждый дом города представлял собой космос, то есть организованный, целостный мир, в котором кипела, кишела и множилась жизнь аркаимцев. Конечно, она была тесной и смрадной, невыносимой, на нынешний цивилизованный взгляд, – но она, эта жизнь, впервые настолько решительно, резко себя отграничила от окружающей дикой природы. Как появление клеточной стенки есть наиважнейший этап возникновения жизни, её отделения от мертвенных неорганических форм – так и появление стен жилища и города (а в Аркаиме они составляли одно) стало важнейшим этапом в формировании человечества как социального организма.

Символично и то, как много печей имел каждый дом Аркаима. Особая печь была для обогрева, особая – для приготовления пищи, особая – для обжига глиняной посуды. О двух других типах печей, о культовой и металлургической, уже упомянуто. И всё это жарко пылало, гудело, трещало в каждом жилище, среди тесного скопища женщин, мужчин, стариков и детей. Хаос огня – этого “абсолютного беспокойства”, по определению Гегеля, – оказался упрятан внутрь топок и отныне служил уже не разрушению, а созиданию – или, выражаясь языком физики, трудился над понижением энтропии. “Абсолютное беспокойство” огня теперь созидало покой и уют – согревало озябших людей и снабжало их пищей, посудой и бронзой.

Когда думаешь об Аркаиме, об этом почти мираже, который вдруг воплотился в ковильных южноуральских степях, – яснее становятся странные строки античных поэтов. “Ad clares Asiae volumes urbes” – “К прозрачным Азии стремимся городам”, – читаем мы у Катулла. Но что за прозрачность, казалось бы, может быть у настоящего азиатского города, со всей его путаной неразберихой улиц, с лабиринтами глинобитных дувалов, с несмолкающим гвалтом базаров и караван-сараев? Не прозрачными – а, напротив, запутанно-чадными и бестолковыми кажутся нам, европейцам, азиатские города.

Но если Катулл имел в виду Аркаим или Аркаим, подобный ему – а в степях Приуралья счёт обнаруженных протогородов идёт уже на десятки, – то понятен становится вздох древнеримского лирика. Да, Аркаим, творение нам неизвестного зодчего, был “прозрачен” – ибо прозрачна, стройна была та идея, тот план, по которым строился город. Оттолкнуться в своих размышлениях от тележного колеса – или, может, от диска степного палящего солнца? – мог лишь человек гениальный, который почувствовал: хаотичному миру как раз не хватает прозрачности, ясности – и внести эту ясность в природу и призвано творчество человека.

“Прозрачным” мы можем считать Аркаим и еще в одном смысле. Город, который возник наподобие воплощенного призрака, – он и исчез, словно призрак, стремительно и необъяснимо. Считается, что он простоял не более сотни лет – а затем степь сравняла и стены, и рвы и развеяла пылью всё то, что осталось от опустевшего города. Почему и куда ушли его жители – неизвестно; Аркаим исчез, словно мираж. Но, хотя след его и затерялся на несколько тысячелетий, в совокупной памяти человечества сохранилась его, Аркаима, идея – и люди позднейших веков, возводя свои города, вступали на путь, однажды уже проторенный.

* По одной из версий, Заратустра жил именно в Аркаиме.

III

Интересно, что наша частная жизнь иногда словно бы повторяет историю человечества: “онтогенез повторяет филогенез” — есть такой закон биологии.

И как на заре истории, ещё в бронзовом веке, существовали протогорода, так и мы в своём детстве нередко встречаемся с самым маленьким городом — протогородом собственной жизни.

В моём детстве такой город был: это Тим, небольшой городок на Курщине. Расположенный на огромном холме — высшей точке Среднерусской возвышенности, — он по количеству жителей как раз совпадал с Аркаимом: чуть больше трёх тысяч. Но разве можно сравнить тесноту Аркаима, стиснутого кольцом деревянной стены — с роскошным привольем, степным нестеснённым дыханием Тима! Любая из улиц того городка, пройди по ней сотню-другую шагов — открывалась в манящую даль, в чернозёмный простор, то подёрнутый дымкой дождя, то дрожащий в полынном, полуденном мареве зноя. Там по волнам холмов пылили комбайны и трактора, поблескивали пруды и пестрели домишки, а то вдруг взлетала тяжелая стая гусей — и было видно, как, словно серо-белый платок, колыхаясь, скользит по-над косогором...

В Тиме всё дышало простором, всё было открыто и ветру, и взгляду — так, что даже и странным казалось называть Тим городом, то есть чем-то отдельным и отгороженным от холмистой степи. Но это был всё же город, и всё, что положено городу и районному центру, в Тиме имелось. Были две школы, больница, партийный райком и училище механизации, маслозавод и пекарня, было множество разных контор, были кинотеатр и аптека (в которой всю жизнь проработала моя бабушка, Мария Павловна Панюкова) — то есть было всё то, что должно быть в любом мало-мальски себя уважающем городе.

И пусть в Тиме не было крепостной стены, о которую разбивались бы орды штурмующих городок неприятелей, — роль стены выполнял сам крутой тимской холм, весь изрытый воронками от миновавшей войны. И недаром о Тиме есть песня, в которой он сравнивается не с чем-нибудь, а с Измаилом, одной из знаменитейших крепостей XVIII столетия:

*Город Тим крутой горою
Прямо в небо уходил,
Возвышаясь над рекою,
Словно крепость Измаил...*

Но для меня Тим был вовсе не крепостью: Тим был — раем. И всегда, когда я воображал себе рай, мне представлялись не ангелы с крыльями — а тимская широкая улица, полная пыли и солнца. Что в ней было такого уж райского, трудно сейчас объяснить. Но сама музыка утренней улицы Тима — это гудение водоразборной колонки, и звяканье вёдер, и короткая, радостно-зычная перебранка соседок, которая, кажется, забавляет не только тебя, но и их самих тоже, и этот мучительно-сладостный поскрип телеги с пустыми молочными флягами, телеги, влачащейся следом за мерно ступающей клячей (а я застал ещё и телеги на улицах Тима и помню, как пахнет дегтярка, болтающаяся у колеса), и взбалмошный грай всполошенных грачей, чьи корявые гнёзда чернеют в листве тополей, и ангельский смех двух белобрых девчонок, вихляющих вдоль по улице на велосипедах, — всё это, взятое вместе, звучало с такою торжественной силой, несло в себе столько гармонии, радости, счастья, что даже сейчас, вспоминая всё это, я как бы снова оказываюсь в раю...

Для меня Тим хорош был в любую погоду — что тоже, конечно, является признаком рая. Вот представляю сейчас, как в ненастье вхожу в тимскую столовую. По сторонам от затоптанного крыльца в тротуар вбиты скобы для очистки сапог от налипнувшей грязи, и почему-то само созерцание этих гнутых железных полос, с ломтями висящей на них чёрной масляной грязи — и то вызывает в душе чувство родины, вздох умиления.

В столовой — гвалт, дым, толчея у прилавка, хриплый кашель и смех мужиков, и перебивающий все эти звуки голос буфетчицы Зинки:

— А ну кончай материться! Вы бы лучше насос покачали — а то пиво совсем не течёт!

Её приказания исполнялись мгновенно: грудастая Зинка (которая, по добrote, наливала и в долг, “до получки”) была для тимских мужиков кем-то вроде богини.

Конечно, пиво в Тиме было вовсе не то, что потом, спустя много лет, я пил в Праге — но разве от качества пива зависело чувство покоя и счастья, которое ты неизменно испытывал в дымной и тесной пивной? В шумных, прокуренных “пивницах” Праги я, кстати, испытывал нечто подобное: казалось, что целую вечность тебе не наскучит сидеть в этом гвалте, в табачном дыму, рассеянно слушая гул оживлённых пивных разговоров. . .

А за мутным вспотевшим окном, на почти непролазных, раскиснувших улицах Тима клубилось ненастье. Дождь то еле сеялся, то припускал и сёк наискось по зонтам и по крышам, по спинам понурых лошадок, стоявших у коновязи, — но, чем сильнее ярилось ненастье, тем острее ты чувствовал сладость уюта, отрадный спасительный кров переполненной дымной пивной. Да, столовая Тима и была твоим городом, местом, где ты был надёжно укрыт не только от ветра, дождя, непогоды — но, как порою казалось, ты был защищён и от всех вероятных невзгод, от несчастий, какие могла принести с собой жизнь. Здесь, в пивной, ты был погружён словно в некий густейший настой, здесь твоя одинокая жизнь растворялась в потоке народного, общего существования — и злодейке-судьбе уж не так было просто тебя обнаружить и вычленишь в этом слитном потоке. . .

Вспоминать и описывать Тим я могу ещё долго, но будет лучше, если я уступлю слово Чехову. Мало кто знает, что он посвятил Тиму целый рассказ и назвал его “Самый большой город”. Так что Тим, с лёгкой руки Антона Павловича, стал героем и русской литературы. Итак, слово классику.

“В памяти обывателей города Тима, Курской губ., хранится следующая, лестная для их самолюбия легенда.

Однажды какими-то судьбами нелёгкая занесла в г. Тим английского корреспондента. Попал он в него проездом.

— Это какой город? — спросил он возницу, въезжая на улицу.

— Тим! — отвечал возница, старательно лавируя между глубокими лужами и буераками.

Англичанин в ожидании, пока возница выберется из грязи, прикорнул к облучку и заснул. Проснувшись через час, он увидел большую грязную площадь с лавочками, свиньями и с пожарной каланчой.

— А это какой город? — спросил он.

— Ти. . . Тим! Да ну же, проклятая! — отвечал возница, соскакивая с телеги и помогая лошадке выбраться из ямы.

Корреспондент зевнул, закрыл глаза и опять уснул. Часа через два, разбуженный сильным толчком, он протер глаза и увидел улицу с белыми домиками. Возница, стоя по колени в грязи, изо всех сил тянул лошадь за узду и бранился.

— А это какой город? — спросил англичанин, глядя на дома.

— Тим!

Остановившись немного погодя в гостинице, корреспондент сел и написал: “В России самый большой город не Москва и не Петербург, а Тим”.

IV

Мысленно перемещаясь на запад от южноуральских степей, от тех мест, где стоял Аркаим, миновав тимской холм, высоко вознесённый над всею округой, — и одновременно двигаясь как бы вдоль своей жизни — я приближаюсь к Смоленску.

Да, шестнадцатилетний юноша, которым я некогда был, въехал в Смоленск как раз с юго-востока, по Рославльскому шоссе — и ничего парадного не было в тех окраинных будках, заборах, домишках, мимо которых катил наш автобус. То ли дело — въезд со стороны Москвы, по старой Смоленской дороге, помнившей еще солдат Наполеона: вот это, действительно, виды могучего, древнего города! Внизу лента Днепра и мосты; по высокому береговому уклону пестреют дома — их оконные стекла и крыши сверкают на солнце; но главное, на чём всегда остановится взгляд, — это громада Успенского собора, горящая золотом куполов, и крепостная стена, чьи красно-кирпичные башни придают всему облику города сурово-торжественное выражение.

Не забудем: смоленская крепость — последняя крепость планеты. Ибо на рубеже XVI—XVII столетий, когда возводился смоленский каменный кремль,

уже не было практической необходимости строить подобные укрепления. Стало ясно, что против пушек не устоит никакая стена, и классические осадные войны средневековья становятся с этой поры достоянием истории. Но с этих же пор всё ясней становилось другое: действительной крепостью, несокрушимой, хотя и незримой — был сам воинский дух древнего города. Три великих нашествия с Запада, те, что всерьёз угрожали независимости России — польско-литовское, наполеоновское и гитлеровское, — все они натывались, как прущий зверь на рогатину, на отчаянное сопротивление Смоленска. Конечно, какое-то время те звери ещё бушевали, ярились, ещё продвигались вглубь русских земель — но, в конце концов, все они издыхали.

Поэтому “город” — понятие не только материальное; не случайно и выражения “дух города”, “гений места” так прочно живут в языке. Вспоминая какой-нибудь город или пытаясь о нём рассказать, мы вызываем в памяти даже не столько дома, перекрёстки, вокзалы и парки — сколько зываем к незримому духу города, к тому, кто собой наполняет всё это и делает город живым.

Вот и Смоленск для меня — тот, давнишний, оставшийся где-то в студенческой юности город — представляет не столько скопление домов и людей, сколько воплощает саму атмосферу, сам дух той эпохи, в которой мы некогда жили.

Конечно, о ней, об имперской эпохе “застоя”, можно сказать много разного — в том числе и плохого. Но мне сейчас хочется следовать правилу древних — “о мёртвых либо хорошо, либо ничего” — и вовсе не хочется пинать тело мёртвого льва. Главное, что сохранилось в душе от “застойных” времен — это чувство покоя, уюта, дремотной недвижности жизни. Мир, в котором мы жили тогда, был как бы миром без сквозняков — миром, в котором закончились все перемены, и поэтому само время было словно упразднено. Всё казалось нам вечным: и голос профессора, вяло бубнившего с кафедры прописные и неизменные истины, и залы анатомички, в которых лежали нетленные трупы, пропитанные формалином, и наши аудитории, где на скамьях и столах были вырезаны вечные студенческие выражения, вроде: “*Lingua latina — non penis canina*”. . . А пивные Смоленска — в которых, казалось, ничто никогда не менялось: ни лица хмельных мужиков, ни перламутровый крап чешуи на столах, ни тот водянистый, мерцающий блеск, что бросали на нас эти вечные грани пивных запотевших бокалов?

А, скажем, витрины продовольственных магазинов? Там, за стеклом, лежали не просто продукты — но будто нетленные символы, знаки продуктов, и я мог часами рассматривать эти витрины, пытаюсь понять их мистический смысл. Казалось: вот в этой витрине, как в ребусе, зашифрована тайна о жизни, стране и эпохе; но лучше, наверное, вовсе не знать этой тайны — поскольку разгадка, возможно, нарушит недвижимое оцепенение мира. . .

Ассортимент — то есть то, что лежало на этих витринах, — удручал своей скудностью, но зато восхищал неизменностью цен и названий. Кажется, я и сейчас могу вспомнить всё то, что лежало там — даже цифры на ценниках. Вот “Килька в томате” за двенадцать копеек — вкуснейшая вещь! — её банки-шайбы уложены горкой, наподобие египетской пирамиды — что тоже, конечно, наводит на мысли о вечности. Вот кольца ливерной колбасы по шестьдесят две копейки кило, а вот к ней и хлеб “Орловский” (16 копеек) — что ещё нужно студенту, который всегда хочет есть? Может, студенту хочется выпить? Так вот он, портвейн “Три семерки” за рубль восемнадцать. . .

Прилавки тогдашних магазинов чем-то напоминали витрины музеев: и аскетической строгостью экспонатов, что были выставлены на них, и неизменностью экспозиций — и, главное, тем ощущением отсутствия времени, что так гипнотически действовало на посетителей. Большинство из стоявших перед витриной людей смутно чувствовали: эту, скажем, еду или эту одежду им должны всего лишь показать, символически обозначить — а уж то, как ей пользоваться, не волновало создателей этой витрины. Наш мир тогда, в годы застоя, был вообще символичен, условен — и этим он тоже походил на музей.

Мы жили в герметической капсуле, в которой время словно остановилось. Режим и империя создавали для нас некий “сверхгород” — в котором мы, дети эпохи, росли наподобие оранжерейных ростков, защищённые от сквозняков и напастей холодного мира. Мы огорожены были не просто от внешних стихий, от жажды и голода (сеть общепита кормила нас всех с грубоватой им-

перскою лаской, и можно сказать, что бесплатно), огорожены были, насколько возможно, и от разгула порочных страстей (преступность тогда была куда ниже нынешней) — но мы огорожены были ещё и от действия времени. Всё, что происходило — точнее, не происходило, а именно что окружало нас там — казалось вовеки незабываемым, вечным.

Потому-то я так и люблю тот, давнишний Смоленск, что мы жили там совершенно особенной, разлученной со временем жизнью. Зло мира, воплощенное в беснованиях демона времени, — оно было словно вынесено за скобки тогдашнего существования, и нам оставался густейший, дремотный отстой вечно длящегося настоящего. . .

И когда мне бывает уж очень тоскливо — я отправляюсь на прогулку по городу собственной юности. Мысленно выхожу из общаги, стоящей на улице Крупской, и двигаюсь к центру. Слева остаётся польский костёл — там устроили похоронную мастерскую, и штабеля из некрашенных светлых гробов свежо пахнут деревом; затем, за оградой справа, я вижу больницу, в которой мне как-то загипсовали сломанную в пивной руку; затем открывается площадь Смирнова, и на фасаде гостиницы “Днепр” видны белеющие гипсовые фигуры. Эти рабочие и колхозницы — кумиры эпохи соцреализма — вызывают сложные чувства. С одной стороны, понимаешь всю их наивность, условность, весь их обветшалый имперский трагикомизм; но, с другой стороны, эти гипсовые персонажи ушедшей эпохи кажутся вдруг совершенно живыми. С болью сочувствия смотришь в их ошеломлённо-счастливые лица, смотришь на эти потрескавшиеся гипсовые улыбки — и вдруг сам себе начинаешь казаться одною из этих фигур. Словно и сам ты стоишь на фасаде гостиницы “Днепр”, смотришь вниз — где шумит совершенно иная эпоха. Она оголтело, бездумно несётся куда-то — газуют машины, на тротуарах кипит толчага, звон трамваев врывается в городское многоголосье — и она знать не знает о том, как неспешна, дремотна бывала здесь жизнь. Современности кажется: истина только в её запыленно-нервическом беге; но как раз в пестроте и мелькании истины нет, и вся эта глянцева мишура неизбежно рассыплется — ибо там, где беснуется время, остаются лишь пепел и прах. . .

V

Снова скачок — в жизни, в памяти, в тексте, — и вот я бреду уже не по Смоленску, а пытаюсь распутать средневековые ребусы Праги. Манит каждая улица, каждый проулок: за поворотами словно бы затаился дух города — и прогулка становится долгой погоней за этим, всегда ускользающим, духом.

Город очень красив — даже, кажется, слишком красив. Как случается, глядя на пышную розу, подумать: “Нет, это слишком прекрасно, такого цветка быть не может в природе” — так и Прага покажется вдруг чем-то слишком декоративным и от этого неправдоподобным. Начинает теряться само ощущение реальности: когда, например, выходишь из уличных лабиринтов на Карлов мост и видишь вдали, за рекой, на вечернем холме, призрак замка, парящие в розовом небе Градчаны — тогда в самом деле не верится, что это не сон, и что этот сказочный город вот-вот не растает в вечернем тумане. . .

В Праге кажется сказочным всё — вплоть до самых простых, заурядных предметов. Дверные ли ручки в виде оскаленных бронзовых львов или люки канализации, где те же самые львы — символ Чехии — горделиво стоят, вскинув вверх свои два хвоста, — всё сделано с очевидным избытком декоративности. Или взять фонари на фронтонах домов: видишь статуи обнаженных красавиц, выполненные в натуральную величину, со всеми подробностями женской их анатомии — но только вместо голов на плечах у красоток призывно светятся стеклянные матовые шары.

Строители Праги на протяжении тысячи лет творили именно сказку: сознательно или невольно они воплощали мечту об идеальном городе. И во многом преуспели: не случайно есть мнение, что если бы инопланетянину надо было показать, что такое город как таковой — именно Прага подошла бы для этого как нельзя лучше.

Превращение реальности в сказку есть главное таинство Праги. Недаром же Прага — столица искусств: ибо дело искусства как раз состоит в возведении реальности — к мифу. И уж в этом-то Прага никак не уступит признанным

европейским столицам – Парижу, Лондону, Вене, а в чём-то, возможно, их превзойдёт.

Город тысячелетней, уникально сохранившейся архитектуры – Прага вся, целиком, представляет собою единый архитектурный музей. Причём пражская архитектура – это не только памятники древности, образцы готики или романского стиля; нет, зодчество Праги и до сих пор развивается, как живое искусство. Взять хоть знаменитый “танцующий дом” на набережной Влтавы. Поразительно, как из стекла и бетона, этих мертвенных материалов, столь модных в эпоху конструктивизма, могло получиться настолько живое, изящное здание: скорей, даже не здание, а лирическая новелла о мужчине и женщине, своего рода “love story”.

А музыка Праги? Уже одно то, что сам Моцарт жил здесь, любил этот город (“Мои пражане меня понимают”, – писал он в письме), то, что он сочинял здесь “Дон Жуана” и лично затем дирижировал на премьере в пражском Словенном театре – это делает Прагу и музыкальной столицей. Выходит, именно в Праге происходило событие, о котором так выразительно написал Пушкин – и из этой записи родился затем его “Моцарт и Сальери”. Вспомним:

“В первое представление “Дон Жуана”, в то время когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы, в бешенстве, снедаемый завистию...”

И раз уж мы перешли от музыки к литературе, то не забудем и пражского литературного вклада в мировую культуру. Карел Чапек, Ярослав Гашек, Франц Кафка – имена мировые и, что называется, знаковые. Но о пражской литературе мы поговорим ниже. Пока же ещё мы не насмотрелись на улицы и на мосты (их в Праге семнадцать!), на фасады домов с их лепниной, на башни и шпили, на черепичный разлив пражских крыш, который открывается пешеходу с высоких мест города, с Петршина или Вышеграда, – мы продолжим прогулку по Праге. И, конечно, мы по пути не раз посидим в знаменитых пивных, спросим там пльзеньского или великопоповицкого – потому что, похоже, в пивных-то как раз и живёт дух классической Праги. Речь, конечно, не о тех модных местах, где кишмя кишат туристы и где сами пражане бывают нечасто – вроде пивного музея “У Флеку” или ресторана “У чаши”, – но о шумных, прокуренных “пивницах”, куда ходят местные жители.

Здесь, в Праге, любая пивная являет собой целый маленький город – со своими порядками и атмосферой, стеной, городскими воротами (то бишь дверью) и со своим коренным населением, проводящим здесь жизнь. Завсегдатай пивной ощущает себя словно бы гражданином отдельной страны, пусть и небольшой, но зато самобытной и полной достоинства. Стоит лишь посмотреть, как сидят за столом, как беседуют и выпивают пражские старики. Все какие-то жилисто-крепкие, очень опрятные, чисто побритые, в свежих рубашках, с достойными выраженьями лиц – они с такою неспешною важностью пьют своё пиво, так смачно курят и так громко смеются, что сразу становится ясно: эти люди живут с удовольствием даже и в старости. Не то что наш, русский старик, который обычно настолько забит, так затравлен и нищ, что почти не выходит на люди – а уж если вышел, то он словно стесняется собственной старости и виновато-испуганным взглядом просит прощенья за то, что задержался-зажился на белом свете. Поучиться бы, что ли, нам у пражан, как можно с достоинством и с удовольствием доживать свою жизнь?

Вообще, жить с удовольствием – что-то вроде таланта, особого дара: он или есть, или его нет; и, похоже, касается это что отдельных людей, что целых народов. Вот, скажем, важнейшая часть любой жизни: еда. То, что ест человек, и то, как он ест, говорит о многом; точно так же и национальная кухня является своеобразным портретом народа. Так вот всех, кто посетил Прагу, поражают размеры порций в здешних “пивницах” или ресторанах. Это что-то раблезиански-огромное: даже заказав одно “вепрове колено” на двоих – и то непросто одолеть эту гору свинины, тушёной капусты и кнедликов. Я, сам любитель поесть, всё не мог взять в толк: да как же пражане справляются с этим обилием жирной, тяжёлой еды – и в каком состоянии должен жить человек, ежедневно заходящий после работы в пивную и запивающий там двумя-тремя литрами пльзеньского полтора килограмма свинины?

Но потом понял: чехи заходят в пивную не просто затем, чтобы что-то там съесть или выпить и потом, расплатившись, уйти (как это обыкновенно дела-

ем мы) — а затем, чтобы провести в пивной часть своей жизни. Поэтому та гора мяса и вареного теста, что лежит пред тобой, — не просто еда, предназначенная к поглощению, но ещё как бы и твой спутник “по жизни”. Порой кажется: настоящий пражанин не столько ест — сколько общается с блюдом, стоящим пред ним на столе. Вот он одобрительно посмотрел на свиную румяную рульку, вот отпил пива, вот что-то негромко сказал, вот передвинул тяжёлое блюдо, чтобы было удобнее облокотиться о стол, вот неспешно примял вилкой капустный, коричнево-сочный развал — и эти движения чем-то похожи на дружелюбное похлопывание по плечу: как живёшь, мол, приятель? Чехи сделали окружающий мир таким дружелюбно-понятным, удобным для жизни, очеловеченным, близким, своим — что, может, не очень-то и удивишься, если свиная нога или утка, политая сладким сиропом, возьмёт да и заговорит человеческим голосом. . .

Но обаяние Праги, конечно, не сводится только к пивным — хотя пива, подобного чешскому, не доводилось попробовать больше нигде — дух города разлит по всем его улицам и переулкам, по мостам над порожиистой Влтавой, по садам, подворотням и лестницам Праги. Сам пражский бульжник, которым уложены старые улицы, ласкает глаз почти так же, как черепичные красные крыши домов — и хочется бесконечно брести по ветвящимся улицам, хочется жить и дышать в совершенно особом, неспешно-лирическом ритме. Всё здесь как-то очень уютно, удобно, всё сделано “под человека” и для человека. Не знаю других городов, в которых себя ощущал бы настолько комфортно, совсем по-домашнему — городов, где настолько стиралась бы грань между, скажем, прихожей или гостиной — и улицей. Здесь спуститься в кафе или зайти в магазин — почти как открыть холодильник на собственной кухне: продукты и выпивка словно только и ждут, чтобы ты их заметил и дотянулся до них. Это чувство, ещё непривычное нам, в нашем русском, доселе суровом, быту: нам-то приходится многое именно что добывать, почти отвоёвывать у окружающей жизни, которая (жизнь) до сих пор к нам не очень-то благоволит.

Здесь же, в Праге, с наслаждением предаешься иллюзии, что весь городской, тебя окружающий, мир — он давно приручен и понятен, доступен и близок, что всё существует лишь только затем, чтобы ты, горожанин, мог потешить-побаловать собственный глаз и желудок.

VI

Но такое стремление к комфорту — оно и опасно. Ибо хаос, который мы так надеялись одолеть и ради этого строили города и дома, освещали их, и обогревали, и снабжали всем тем, что нам нужно для сытой, спокойной, размеренной жизни, — хаос вновь прорывается к нам, но уже с другой стороны: изнутри наших собственных душ, так изнеженных долгой привычкой к комфорту.

И в Праге, увы, видишь это на каждом шагу. Почему здесь так много бомжей — здесь, в спокойной и благополучной стране, где отлично работают все социальные службы и где все, кто желает, получают работу, и кров, и тарелку бесплатной еды? Но попрошайек и нищих местами так много, что трудно пройти мимо этих дрожащих протянутых рук, мимо шамканья ртов, разящих пивным перегаром. . .

А всё дело, видимо, в том, что людям не хочется напрягаться. Зачем что-то делать, работать, терпеть — когда спать я могу и на лавочке в парке, а уж денег на пиво всегда набросают проходящие мимо туристы?

Или вот наркоманы. По вечерам в переходах под Вацлавской площадью, там, где тусуется молодежь, порою на два нормальных лица приходится три мутноглазых, тупых, отуманенных зельем. В туалетах же кафель пола и стен нередко забрызган кровью, а под ногами хрустят пустые инсулиновые шприцы — вводили которыми, ясное дело, не инсулин.

Но ведь суть отношения к жизни что пьяниц-бомжей, что молодых наркоманов едина: это нежелание напрягаться — нежелание, в сущности, быть человеком*. Идея, что всё в мире существует единственно для моего личного

* Вспомнил выражение Мераба Мамардашвили: “Человек есть непрерывное усилие стать человеком”.

удовлетворения и наслаждения, и дело лишь в том, чтобы всё это возможно быстрее и проще употребить, — эта идея настолько вошла в плоть и кровь современного горожанина, что призывы напрячься, перетерпеть или хотя бы разумно ограничить потребности воспринимаются, как брюзжание выживших из ума стариков, ничего не понимающих в современной “продвинутой” жизни.

И получается, что человечество, двигаясь по пути наибольшей комфортности жизни, превращаясь из религиозного “общества цели” в примитивное “общество потребления” — начинает само разрушать свои собственные города, начинает попирать изначальную городскую идею, которая состоит в одолении хаоса жизни. Современные города-мегаполисы всё откровеннее сами становятся неким гнездилищем хаоса, местом нечистым, отравленным, смрадным. Это относится и к экологии — ещё удивительно, как человек ухитряется выжить в нечеловеческих этих условиях, в гуле и чаде больших городов, — и к моральному, так сказать, облику мегаполисов.

Несомненно, что каждая из десяти заповедей нарушается в мегаполисах чаще, чем в небольших городах или сёлах; и несомненно, что каждый из смертных грехов гораздо пышнее цветёт на их заражённой, отравленной почве. Преступность и проституция, нищенство, наркомания — то есть проявления социального хаоса — черты именно современного мегаполиса, места, которое мы вполне можем считать антигородом.

Отчего так грустны были наши последние пражские дни? Казалось, что мы расстаемся не просто вот с этим прекрасным, чарующим городом — но что мы расстаемся с городом вообще, как с великой мечтой человечества. Даже Прага — город, наиболее ярко и полно, насколько это возможно, воплотивший такую мечту, — давала немало поводов для горестных размышлений и неутешительных выводов. И едва ли не самым печальным — как выражаются медики, симптоматичным — показалось очевидное поражение Ярослава Гашека в его заочном поединке с другим знаменитым пражанином, Францем Кафкой.

Отправляясь в Прагу, мы были уверены, что уж Гашека-то в этом городе не позабыли: как можно не чтить автора одного из великих романов XX века, полного местных реалий шедевра? Пивные и улицы Праги упоминаются в “Швейке” так часто, что кажется: эта книга может служить пражским путеводителем. В каком-то смысле мы и ехали в Прагу на встречу с Гашеком и его Швейком — на встречу с действительно чешским национальным писателем и порожденным им национальным героем. Величие Швейка — в его архетипичности, в том, что он стоит в одном ряду и с нашим Иванушкой-дурачком, и с французским Жаком-простаком, и с Ходжей Насреддином, то есть в ряду образов-мифов, в ряду выразителей национальных идей.

И кого же мы встретили в Праге? Нет, вовсе не Швейк и не Гашек, с их круглыми лицами, с трубочками в углу рта, с их наивно-остолбенелыми взглядами посмотрели на нас с пивных кружек, с футболок, с витрин ресторанов, с фасадов домов и с афиш, с бутылок и с пластиковых пакетов.

Со всех тех мест, где только возможно поместить портрет — на нас был уставлен скорбный взгляд Франца Кафки. Казалось, что кафкианский дух захватил, оккупировал Прагу и что нам, как от наваждения, некуда скрыться от этих семитских пронзительных глаз. А вот Швейка с Гашеком практически не было, если не считать ресторана “У чаши” да нескольких сувенирных лавчонок. Несомненно, что Кафка одолел Гашека — по крайней мере, в отношении “public relations”, то есть рекламной “раскрученности” одного из лидеров модернистской литературы XX века.

То, что модерн оттесняет и подавляет традицию — всеобщий процесс, и пример с Кафкой и Гашеком есть лишь частный случай этого мирового процесса. Искусство классическое — то есть традиционное, национальное — стоит на пути глобалистских процессов, препятствует вавилонскому смешению языков, неизбежно ведущему к мировой деградации; поэтому силы, толкающие мир к хаосу, первым делом стараются подавить самобытность, разрушить традицию, запачкать гармонию и опорочить стремление к идеалу. Авангардизм этим и занимается: он глумится и пародирует, насмехается, строит нам рожи — иными словами, он пачкает грязью всё то, что люди считают святыней. И арт-авангарду, как правило, удается одержать верх над традицией: он энергичен, всегда современен, его руки не связаны честью и принципами. Да и вообще всё то, что потакает порокам и слабостям — куда популярнее, нежели то, что стремится возвысить и просветлить человека.

Так что авангардизм, в большинстве своих схваток с традицией, побеждает; только что означает, по сути, всемирная эта победа? В сущности, это страшное поражение, это гибель искусства — и реванш мировой энтропии, которая, на протяжении всей истории цивилизации, явно и исподволь пытается разрушить хрупкие гармонические миры, созданные гением человека. Если всякое, к гармонии устремленное, произведение истинного искусства представляет собой некий “город” — ту сферу, где гармония одолевает пустоту, агрессивный и мертвенный хаос, — то произведение авангардное является “антигородом”: хаос в нём попирает гармонию. Если настоящий художник всегда, всю силой таланта и творческой воли строит свой гармоничный, осмысленный мир — то авангардист чаще всего разрушает. Да, это разрушение может быть очень эффектным на поверхностный взгляд, оно может щекотать нервы и будоражить кровь, обольщать привкусом новизны; но в жилах авангардизма течёт не живая кровь подлинного искусства, а циркулируют трупные яды.

Жизнь вообще очень консервативна — попробуйте-ка изменить хоть какой-нибудь из параметров гомеостаза, — поэтому то, куда нас ведёт авангард, есть, в конечном-то счёте, движение в сторону смерти. Там, где происходит крушение норм и разрушение иерархии ценностей — то есть там, где не строятся, а разрушаются города, — всегда пахнет трупами. И весьма показательно, что в истории человечества модернистские революции совершались сначала в искусстве — а потом они воплощались уже в социальной реальности; и на смену виртуальным, так сказать, трупам, трупам классического искусства, над которым легкомысленно-злобно глумится авангардизм — являлись и настоящие трупы, смердящие на руинах разрушенных городов...

Досадно и несправедливо, что в глазах всех приезжих Прагу представляет не Гашек, а Кафка, человек совершенно не пражского склада и образа жизни. Прочитав всего Кафку, можно так и не понять, в какой стране, в каком городе жил этот писатель; безлика интернациональность текста есть характерная черта модернистской литературы вообще. И если уж в Праге Кафка настолько “раскручен”, то пражане должны отдавать отчёт в том, к чему ведёт такое явное предпочтение автора космополитического автору ярко национальному. Превознесение модернистского над традиционным означает, по сути, приговор той классической Праге, какой она была сотни лет и какой её так любили все те, кто когда-либо жил в этом городе. Дух города, гений места — понятия, совершенно пустые для Кафки. И каким же глумленьем над Прагой выглядит памятник Кафке, который, как будто в издевку, называется “spirit of town” — “дух города”! В еврейском квартале Иозефов стоит безголовый пустой человек — по сути, один пиджак с брюками — на плечах у которого, как бы направляя и вразумляя это безголовое существо, сидит грустный маленький Кафка. Кажется: он восседает на плечах Голема, то есть чудовища, разрушающего всё то, на что только падет его хаотично-бессмысленный гнев. Какой же это дух города? Это дух разрушения, смерти, распада, управляет которым общепризнанный лидер авангардистской литературы.

Тлетворный дух авангарда отчётливо ощутим и в пражском “Дворце ярмарок” (музее современного искусства), где посетителя уже в вестибюле встречает шеренга фаянсовых писсуаров и где, среди прочих авангардистских изысков, видишь огромные фотографии женских трупов со вспоротыми животами. Согласитесь: когда бред некрофила покидает стены психиатрической клиники и находит пристанище в крупнейшем музее — диагноз можно ставить уже не творцу некрофильских “шедевров” (он явно болен — что с него взять?), а тем, кто пытается выдать подобную гнусность за предмет эстетического поклонения.

Но и это — цветочки. То, как авангардизм паразитирует на традиции, как он шулерски передергивает карты в своей нечистой игре — откровенно проявилось в истории с двумя памятниками святому Вацлаву. Первый памятник покровителю Праги, могучая конная статуя, возвышающаяся над центральной площадью города, издавна служит не только гражданским и политическим символом — но также является и лирическим центром Праги. Известно, что излюбленное место свиданий пражских влюбленных — “под хвостом коня святого Вацлава”.

Но давайте пройдем вниз по Вацлавской площади и свернем налево — чтобы оказаться в фойе кинотеатра “Люцерна”. Что это: огромное, черное,

чуть раскачивающееся от сквозняков, свешивается там с потолка и вот-вот, кажется, рухнет на головы посетителей? Не веришь глазам: это другой “святой Вацлав” — так сказать, “анти-Вацлав” — восседающий на перевернутом, дохлом, раздувшемся от трупных газов коне! По беспримерной, цинической наглости эта карикатура на святого покровителя Праги не имеет себе подобных — и подтверждает наши рассуждения о разрушительной, некрофильской сущности авангарда. Видя, как некий антихудожник обезьянничает, издеваясь над традиционной святыней, вспоминаешь богословское выражение: “Дьявол есть обезьяна Бога”.

VII

Не потому ли и наше знакомство с волшебным, чарующим городом несло в себе столько печали? Как будто мы, не успев поздороваться, уже должны были сказать Праге: “Прощай...”

Эта глубинная боль, эта нота разлуки, что звучала в душе, — она означала, что мы расстаемся не только вот с этими улицами и соборами, не только с часами на Староместской площади и со скульптурами Карлова моста; эта боль означала, что мы прощаемся с городом как таковым. Идея города как воплощения гармонии, похоже, оказалась не по плечу человечеству. Уж если и Прага, прекраснейший из городов, и та оказалась подвержена духу распада — то что говорить об иных, давно позабывших свое назначение и смысл городах?

И, конечно же, не современному мегаполису, городу XXI века, суждено поддержать городскую идею. Напротив: как раз в мегаполисах хаос освоился и укрепился — он себя чувствует там, как в своём собственном доме.

Что же нам остается? Как быть тем, кто еще ищет порядка и смысла — то есть тем, кто пока ещё жив? Выход только один: строить собственный город. Не в том смысле, конечно, что вот мы сейчас соберемся и начнем копать ров, а потом ставить стены, чтобы отгородиться от современности и зажить герметически-замкнутой жизнью. Хотя надо сказать, что подобного рода попытки уже предпринимаются. Разве “экологические поселения”, модные ныне, — это не своего рода “римейк” протогорода? А особняки на Рублевке, оснащенные всяческими защитами, — разве это не попытка создать отгороженный мир, в котором хозяин особняка сможет предаться иллюзии собственной защищенности от враждебного внешнего мира?

Но я сейчас о другом. Речь о том, что пора возвращаться к самим себе: как в смысле государственно-национальном, так и в отношении частной жизни. Как ни крути, но строительство города должно начинаться изнутри нас самих — иначе всё то, что мы нагородим снаружи, будет непрочным, как картонный домик.

Пора осознать, что все мы — каждый из нас! — являемся осажденными городами. И города эти, несмотря на явное преобладание неприятеля, так сказать, в силе и технике — с непостижимым упорством ещё продолжают обороняться. Штурм идет непрерывно: и весь внешний мир насаждает на нас, со всем его холодом, тьмой, с беспощадным давлением времени — да и внутри нас самих то и дело вспыхивают мятежи. Наши слабости, наши грехи бесперывно терзают нас, и тот хаос, который кипит внутри наших душ, — он, пожалуй, опаснее хаоса, что подступает снаружи.

Казалось бы, наше дело безнадежно проиграно. Как устоять против сил всего мира — как удержаться на космических сквозняках энтропии? Но, странное дело: сама безнадежность, отчаянность положения, в котором все мы находимся, — она дает силы сражаться. Уж если доселе мы как-то держались и, несмотря на то, что весь мир был против нас, мы еще сохранили понятия смысла, порядка, сохранили стремление к добру — значит, с нами те силы, которые не дадут нам пропасть окончательно. И пусть наши стены ветшают, крошатся зубцы укреплений, пусть редуют ряды изнурённых защитников крепости, пусть грохот осадных орудий день и ночь сотрясает ворота — нам надо держаться...

Едва ли не первым, что я увидел, вернувшись домой из поездки по Чехии, — было то, как сосед ставит новый забор взамен обветшалого и завалившегося. Вот уж, казалось бы, сущий пустяк: ну, забор и забор — мало ль в

России заборов? И вообще, ставить заборы, чтобы после, в бунтарском или пьяном угаре, их разрушать – это, похоже, любимое наше занятие, что-то вроде национальной болезни.

Но в этом – в стремлении ставить заборы – есть нечто и метафизическое. Русский не может без них – иначе он просто-напросто не выживает в бескрайних и леденящих пространствах родимой земли и не в силах сдержать то непросветлённое, тёмное, злое, что мутно клубится в душе. Конечно, дощатый забор не удержит разлива погубительной страсти; но само устремленье, усилье сдержаться и обуздать в себе хаос – оно выражается в том числе и в пристрастии русских к заборовам (и к сильной, карающей власти – добавим а propos).

И поэтому я, попивая утренний чай у окна своей кухни, с сочувствием и любопытством наблюдал за соседом. Он был явно с похмелья: пот с него лился ручьями, взгляд был тосклив, и желваки перекатывались по скулам. Но работал он с таким напряжением, упорством, как будто ни много ни мало – боролся за жизнь.

Да, ему было несладко: перетаскивая очередной брус, он, что называется, переламывал себя через коленку. Но, тем не менее, с хрустом ходила ножовка, молоток бил уверенно-крепко – и на перекладыны между столбами вставала доска за доской. Забор получался нарядно-весёлым – он ярко желтел среди зелени вишен, малины – и казалось, что в мутно-похмельной душе у соседа с каждой очередной пришитой доской всё тоже мало-помалу приходит в порядок. Что ж, он делал великое дело: он боролся и с хаосом, что насаждает снаружи, боролся за тишь и порядок в любимом саду – и одновременно сражался с тем разрушительно-тёмным, что мутно клубилось в душе. Было видно, как мало-помалу светлеет тоскующий взгляд – и вот уж подобье улыбки возникло на сером, небритом лице. “Ну, что же, – подумал я, – Бог тебе в помощь...”

г. Калуга